

Александр Казаркин
Лирик Игорь Киселёв

// Казаркин А. П. Литературное краеведение в Кузбассе. – Кемерово, 1993. – С. 61-73.

«Жил художник среди нас...» — так начинается одно из поздних стихотворений Игоря Киселева о недооцененном, незамеченном таланте. Он хорошо знал, что это значит: жить неузнанным, незамеченным. Сам он не узнал при жизни широкой известности, но, по всему, похоже, знал себе цену. Этот поэт, едва ли не лучший лирик послевоенной Сибири, был не известен широкому читателю. Посмертная публикация в двух номерах журнала «Наш современник», выход в Москве сборника его стихов «Под солнцем и ненастьем» — начало пути в большое время, в память поколений.

Расцвет таланта Игоря Киселева пришелся на мрачные и бездыханные семидесятые годы. Этим все сказано о тональности его стихов. Они принадлежат к тому поэтическому направлению, которое в критике было названо «тихой лирикой» — в противовес господствовавшей тогда «эстрадной», громко саморекламирующейся стихотворной продукции. Это обрекало на неуспех у читателей-современников, оглушенных громкоговорителями, но у поэта был свой, дальний, адресат — с развитым вкусом, с хорошей литературной и общей культурой, привыкший сосредоточенно, несуетливо вдумываться в неблагополучие окружающих судеб и страны.

Есть такая печальная закономерность: настоящий поэт приходит неожиданным и уходит неузнанным. Ведь читатели ждут того, что уже утвердилось, что вошло в моду. Но мода проходит, а большая литература рассчитана надолго. Литература в Кузбассе, да и во всей Сибири, всю славил думы Запсиба, терриконы и лесоповал, когда вышли первые книжки Игоря Киселева «Перецвет», «Ярославна», «Человек приходит к человеку». Голос лирика, склонного к философскому раздумью, не мог сразу быть услышан. Он приглашал жить и чувствовать не спеша, не гнаться за прогрессом, навязывающим нам противоестественный темп.

Не спорь со временем бесстрастным,
Смотри на все издалека.
Есть привкус горечи в прекрасном.
И радость каждая горька.

Но самое удивительное было в том, что такой поэт явился в городе без прошлого, городе без культурного слоя, в городе, смирившемся с гарью и копотью и даже их считавшем нормой нынешней жизни. В городе, не знающем милости к природе, зазвучала вдруг молитва о земле. Да, тихой песней-молитвой были уже первые стихи Игоря Киселева. Мог ли быть легким путь поэта, столь ранимого, столь взыскательного во вкусах, столь широко видевшего ситуацию экологического безумия?

Среду, в которой он жил, поэт видел без иллюзий, но сарказм, даже

ирония у него редки. Он предпочел писать на вечные темы, лишь исподволь, незаметно вводя детали окружающего. Его, без всяких преувеличений, можно назвать поэтом тютчевской школы. Это не оценка, а указание на традицию, на тип лирического мышления.

Не знаю, к несчастью ли, к счастью,
В предчувствии близкой беды
Я стал ощущать себя частью
Деревьев, и звезд, и воды.

В эстрадной лирике нет места боли, чувству конца — тем более. А Игорь Киселев из тех, кто «заглядывает за зеркало», кого мучит тема смерти: «Подумав: должно быть я болен. Упал от дорог вдалеке. Но был я и лесом, полем, и птицей, летящей к реке». В стихотворных циклах Киселева есть повторяющаяся ситуация: лес или дерево увещевают человека: не отчаивайся, мол. В огромном городе, чужом и безответном, нашелся друг: «Шептало дерево, что люди не одиноки на земле». И в этом шепоте кроны — «неотложная служба души». Ибо оно

Шептало, что земля прекрасна,
Что лес — не цех и не музей,
И что уходим мы напрасно
Все дальше от своих друзей.

Но этих безмолвных заступников остается все меньше, и не поймешь, чье сатанинское рвение уничтожает последних поставщиков кислорода в наших задымленных городах...

Памятники лирикам ставят редко. Они не становятся знаменами политических партий. Не было заорганизованных и помпезных «Киселевских чтений», но стихийно, то в школах, то в библиотеках, люди читали и обсуждали поэзию Киселева. Немало стихов его положено на музыку, стали студенческим фольклором. «Конгениального эпохе» поэта, в конце концов, выбирает сам народ, какие бы там команды ни приходили «сверху».

Но кто-то скажет: да время ли сейчас для философской лирики? Трудно обойти вопрос Чивилихина: «Мне кажется, что наступило время, когда любить природу — мало. Любит ли она тебя и что ты сделал, чтобы она тебя любила?». Здесь языком публициста сказано то, что давно уже говорили в проповедях: любить истину и Бога — мало, нужны дела. Но первый шаг к делу — пробуждение зачерствелой души, освобождение ее от ложной мифологии покорения природы. Изменить мироотношение современник? — вот сверхзадача литературы. Относиться к природе не побазаровски («природа не храм, а мастерская»), а молитвенно-благоговейно это значит ценить жизнь за то, что она жизнь. Наверно, для этого надо родиться в нормальной природной среде. А то ведь в многотиражных газетах Кузбасса мы встречаем баллады о черном снеге и рыжих речках: их авторы

приняли с детства извращенную среду как данность,

* * *

Село на трех дорогах.
Там. прихвастнуть не грех,
Я знаю все про многих
И многое про всех...

Родился Игорь Михайлович Киселев в 1933 году в алтайском селе Павловское. Это предстепье, поля от горизонта до горизонта, остатки говора переселенцев из срединных губерний России. И заметим: в стихах Киселева нет таежной глухомани, романтики гор и урманов. Нет никакой экзотики Сибири, он пишет о том, что естественно ложится в русскую песню. Но и песенный слой в его стихах — где-то в подтексте. Нет, его истоки — «книжная», то есть романтическая и философская, лирика. И тем не менее есть все основания отнести его к той когорте русских поэтов 50—70-х годов, которую называли «почвенниками», «деревенщиками», имея в виду народно-фольклорный склад стиха. Это Н. Рубцов, А. Передреев, А. Прасолов, Н. Тряпкин.

Да, в стихах Киселева мы не раз почувствуем безвозвратно уходящие песни русской старины, но это уже как бы дальнее эхо.

Там, прислонясь к частушке,
Бесстыж и в меру пьян,
У старенькой церквушки
Похаживал баян...
Я много лет там прожил.
Там так меня тревожил
Девичий голосок,
Негромок и высок...

Добрая, благодарная память, и без литературной игры в непереносное возвращение «к корням»: невозвратимое — невозвратимо. Не о том речь, чтобы спастись от сложностей памятью о простоте, а о том, чтоб сохранить в душе меру чистоты и ясности, «В прошлом все еще ярко сверкают огни, звонко песни на вечере праздничном льются. Оттого-то мне эти и дороги дни, что они никогда, никогда не вернуться».

В сборнике «Ночные реки», лучшей из прижизненных книг, раздел «Музыка нашего детства» поставлен в конец — тут самые сильные финальные стихи. Но в жизни поэта, в его формировании этот «раздел» был главным: детство — родник поэзии для каждого человека, даже если оно не было беспечальным.

Вот стихотворение «Конь» — точная, поэтически емкая зарисовка по памяти. В нем — тяжкая жизнь деревни в первые послевоенные годы.

Как он шел, подлец! Как он шел!
Как заря по нему стекала! Бронзовела с отливом в шелк
Шея, выгнутая лекалом...
Неприступный — попробуй тронь —
Статью хвастая незнакомо,
Подлетал к сельсовету конь
Представителя из райкома.

Хороша была бы эта картинка, живописно-заразительна («как сверкала дуга на нем с бубенцом из веселой стали»), — вот если бы не оказалась более впечатляющей картина крестьянской жизни: «а деревня нища была, голодна была и сердита». Конь и седок равнодушны к ее беде, к тому, что «на базар уводил коров год тот первый послевоенный».

Как следует именовать то, что внешне красиво, а внутренне рождает неприязнь? Обесчеловеченная красота? Но ведь не конь вызывает неприязнь, а этот советский «баскак», седок, это он «равнодушен к чужой напасти». Умысел автора: втянуть читателя в душевный конфликт, чтобы он задумался об отошедшем времени, как о своем.

Долго, пристально, тяжело,
Вплоть до леса за выпасами,
Провожало его село
Непрощающими глазами.

Стихотворение построено на контрасте зачина и финала. Радость детства изначально омрачена, так часто мир будет играть с лирическим героем в перевертыши. Читатель должен отождествить свой взгляд не с равнодушным взором коня-пустопляса, с взором изработанной деревенской лошади: «Матерясь и едва не плача, люто бил водовоз кнутом спотыкающуюся клячу». Нам приоткрылись биографические истоки зоркости автора к тяжким парадоксам жизни.

Тем не менее не надо толковать стихи Игоря Киселева только в биографическом ключе. Он всегда обобщает, в частном проглянет часть судьбы народной: «Музыка нашего детства, долгой и страшной войны! Ты помогаешь взглянуть в самое сердце страны». Даже детство лишено идиллической простоты. Характер у лирического героя сильный, неуступчивый: он не бежит от сложностей в утопию, в мир грез и вовсе не склонен к огульному порицанию современности, хотя знает о ней много неприятного. При всей противоречивости миропонимания, герой Киселева целен. Он просветлен мудростью трудной жизни. Мудрость — это ведь отказ от излишеств, просветление. Пусть не всегда так, не каждодневно но поэт брался за перо в минуты тихой ясности.

«В калитку памяти стучась», поэт хочет сохранить мир юности не для того, чтобы противопоставить ему всю современность, а чтобы сохранить

душевную цельность, единство собственного пути. То есть — не потерять себя, лучшее, чистейшее в себе. Осознание поэтом своего призвания всегда загадочно. Сохранить внутреннюю ясность и чувство отвращения к фальши, настроить себя на природные ритмы — такая сложилась творческая программа.

Притихли скверы, онемев от крика,
И в душу мне стучится этот крик.
Как будто бы за все, что безъязыко.
Подарен мне мой сбивчивый язык.

Постепенно поэт вышел к теме большой родины, огромной исторической родословной. Но у него всегда точная география, хорошо узнается Сибирь. Конечно, такая «паспортизация» еще не объясняет секрет поэтичности стиха. Не внешние события делают человека поэтом, а глубоко скрытая работа души. Как сказал Николай Рубцов, «память возвращается, как птица, в то гнездо, в котором родилась». Но возвращается с мощными духовными крыльями, из поднебесья. Черствый практик спросит: а зачем ей возвращаться?

Оказалось, что мир сузился с воцарением больших городов: места для души осталось очень уж мало. Только в стороне от городов, только на обочине искренняя поэзия ищет свой символ веры. Там, где живет еще и напоминает о себе былая Россия. Те ли мы, каких ждали предки, которыми мы гордимся? Так ли живем, чтоб одобрили нас потомки?

Как будто в синеющей дали
И в облаке темных лесов
Спят вести забытых преданий
И звуки иных голосов.
Быть может, наш пращур далекий,
Закончивший день свой нелегкий,
Пудовые сжав кулаки,
Вот так же сидел у реки...

Разная у всех мера включенности в единую судьбу, в большую народную песню. Не надо преувеличивать свою значимость в народном хоре. Мало ли видали мы самохвалов, присвоивших себе «гениальность» при самом скромном голосе! Они считали, что чем громче, тем долговечнее стих.

Пойми, пройдя сквозь годы и сквозь дым:
Не ты владеешь голосом своим,
Но, встав над сердцем, жизнью и судьбой,
Твой мерный голос властвует тобой.

Это подчеркнутое самоумаление, конечно же, — литературная

позиция: смирение, понимание поэзии как служения. Слишком уж утвердилось в 70-е годы понимание поэзии, как спорта и цирка, но «в поэзии не стоят ни гроша боксерские и прочие приемы». Да, за последние годы как-то стала малозаметной, оттесненной элегия — традиционный жанр русской философской лирики. А у Игоря Киселева она, пожалуй, основной жанр. Тихая вечерняя песня, взгляд на человека как бы из природы, ее мерою, по ее законам. Элегия оказалась способной наполниться актуальнейшим содержанием. Стихи Игоря Киселева выделились зовом к милосердию и еще — щемящим чувством убыли красоты в мире.

Так называемая «почвенность» поэтического дара — это органическое, растущее с детства чувство родины, чувство причастности к чреде поколений, к заведенному еще прадедами чувству круга жизни, который не нам бы ломать. Мало ведь родиться в деревне — надо сохранить деревенский, «соприродный», взгляд на жизнь, не упустив ничего из современной культуры. Чтобы было с чем сравнивать свои и чужие достижения и потерн, когда ты окажешься в среде, откуда контраст истоков и «вершин» предстанет поражающе ясно. С беспочвенности, считал Достоевский, начинается бесоодержимость. — та ненасытимая суета, которая правит нынешней культурой.

Тогда понятно, почему привлек Киселева Мариинск — «этот сказочный цветок деревянный на закате деревянного лета». В нем, этом городке, бывший кандальный тракт пересекся с железной дорогой, в нем сохранились следы прежней, дореволюционной Сибири. В нем, хоть немного, но въяве, поэт возвращался на забываемую родину — в эпоху дерева: «Рассуждали мастера неторопко, не спешили приниматься за дело. Чтобы дом — так был он дом, не коробка, чтоб душа в нем отдыхала и пела».

Здесь, глядя на резные наличники и карнизы, думаешь невольно: ведь сначала все это росло, шумело на ветру, млело под солнцем. Что эра дерева дала своих мастеров, которым уже, пожалуй, не ходить по раздольной деревенской Руси. Конечно, и сами мастера не знали цены сотворенной ими сказки, цену всему на свете дает большое время. И все же они рубили, как пели! Улицы-сказы, реликты ушедшей культуры, деревянная столица Сибири, прославленная в прошлом ямщиками, кандальной ковкой. А потом был здесь центр Мариинсклага, место расстрелов, тайный подземный карцер... Словом, многое из истории Сибири отложилось здесь. Будь здесь храм, его бы скovyрнули, конечно, или превратили в кочегарку, а вот улицы остались и рассказывают о совсем другой жизни. Кошмарная быль России не должна быть забыта: дома-сказки стояли полвека в административном центре лагерей, а через них прошли тысячи обреченных. Вот она, историческая рама, в которой видим мы нынче этот город — «деревянную сказку».

Шли над городом лета за летами.

В ставни стукались дожди, как слепые.

Осыпались кружева, облетали.

Горьким прахом становились и пылью.

Выл он славен, Мариинск, мастерами,
Славен вязью кружевной настенной.
Ухолили мастера, умирали,
Но бессмертно мастерство
И нетленно.

Не об одном плотницком мастерстве тут, конечно, речь, — о складе народной песни и памяти. Поэтом-реставратором Игорь Киселев не был. Память народная живет как песня или как легенда. Наш поэт оставил песню-сказку. И читается «Мариинск» как литературное завещание: с этим городом связана ранняя кончина Игоря Киселева, здесь он в последний раз читал стихи. Он умер по пути из Мариинска в Кемерово. В этом есть какой-то символический знак. Ведь мы еще не освоили, что такое Мариинск: здесь место всенародного нашего покаяния.

В нашем нынешнем мире подлинная поэзия взяла на себя роль молитвы. Именно подлинная — человеческая и глубокая, — ведь нередко стихи теперь служат черному шабашу, становятся музыкой пира во время чумы. «В духовности моды не существует, — сказал по этому поводу В.Распутин, — существуют искривления... во всем мире произошло сегодня заметное и решительное расслоение писательской продукции на собственно литературу и литературу прикладную, вливающуюся в поток индустрии развлечений». Исповедальное, задушевное слово рассчитано на сотворчество-раздумье. Духовный «кислород» исходит лишь от творчества, связанного с земными, природными ритмами. И, очевидно, скоро все призрачные цели отпадут, останется одна — сохранить жизнь.

Лирика, не рассчитанная на моду, начинается с ухода в себя с отъединения от шума времени, с переоценок стереотипов. В ней человек остается перед океаном времени. Но зачем вырывать современника из власти моды, стереотипов? Не безнадежное ли это дело? Такой вопрос, пожалуй, не раз задавал себе Игорь Киселев.

Оторвались от ясного ручья,
Забыли, как равнина пляшет рожью...
И, может быть, совсем напрасно я
Всех в этом обвиняю и тревожу?

Он не дал прямо ответа, а переключил стихотворение на другую тему — заговорил о родине. И это самый верный ответ: «Мы забываем, повзрослев едва, что общим корнем связаны слова: народ, и благородство, и природа».

Стихотворение «Благодарю, земля, благодарю...» было программным для автора и характерным для его стиля: признание в любви и чувство общей вины перед землею:

Прости, Земля!
Пьянея от побед,

Мы мало ценим твой высокий свет.
Вез нас жила ты миллионы лет—
Мы без тебя не проживем и года.

Вот чего мало в потоке «экологических стихов», в публикациях на тему «человек и природа» — чувства личной вины. В семидесятые годы интеллигенты редко спрашивали с себя, жили в атмосфере лжи и тоскливого неверия в нормальное будущее. А поэт уже видел огромную общую вину и за всех нас раскаивался перед землей-матерью. И предсказывал воздаяние за ложную веру:

Не предвидя тяжести расплаты, —
А она придет, и поделом! —
Мы в природе словно оккупанты
В городе, что сдался нам в полон.

Если поэт честен перед собой, он болеет болями своего времени. Острее многих чувствуя неблагополучие, он — не врач, а боль. Этой подлинностью страдания он захватывает вдумчивого и взыскательного читателя и уж потом врачует, — если, конечно, видит просветляющий путь. Если несет в себе ясность, тишину. Вот ведь чего не хотят постигнуть люди: мы так много отдали необходимого за излишества! Так уж приучили нас всех смотреть на дом свой — Сибирь — со стороны грандиозности, безмерности, что напрочь утратили многие живое к ней отношение. Нынешнее обращение с землей, недрами и реками — это же во сто крат страшнее былой лысенковщины. Для России всей Игорь Киселев голос из эпицентра экологического бедствия, причем не крик, а покаяние.

Возражают так: а какое значение может иметь твое личное покаяние, если речь идет о цивилизации в целом? Что она значит, твоя личная вина, перед геологической силой техники, перед неудержимым ростом городов? Это вопрос практичного человека: если, мол, помочь не можешь, так помолчи. Отвечает поэт-философ: тогда не называйте безумие прогрессом, так и скажите себе и другим: это путь к пропасти, и надо менять ориентиры. Это подобно смене религии, и потому многие бегут от ясности понимания вопроса.

Сейчас больше, чем когда-либо, нужен поэт—самосознание народа, тон части нации, которая хочет крепить поколения на правде-совести, а потому трезво итожит прошлое и прикидывает пути в будущее, пути выхода из провала. Вот ей, этой здоровой части, и нужно признание: «Ты лечишь нас, а мы тебя калечим. У вековой традиции в плену, Мы до сих пор ведем с тобой войну... За жизнь, земля, тебя благодарю. Благодаря, раскаяньем горю».

Говорят, в некоторых городах Кузбасса больше не живут ласточки. Им-то целый день носиться в отравленном смоге — совсем уж обреченное дело. Да и мошки в ядовитом воздухе тоже отравлены. И поэт прикидывает

будущее:

А что, если однажды навсегда
Покинут птицы наши города
И никогда не прилетят обратно?!

Это будет знак, что жизнь от нас отворачивается. Андрей Платонов, одним из первых предвидевший катастрофу, предупреждал: «Человечество — без облагораживания его животными и растениями — погибнет, оскудеет, упадет в злобу отчаяния, как одинокий в одиночестве». То есть — цинизм мироотрицания с «успехами ноосферы» неизбежно будет углубляться и выродится в религию ненависти ко всему живому? Жуткая, но вполне вероятная картина: привычка имеет свойство укрепляться. Не надо называть это «мстью природы», — мать не может мстить своим детям, даже заблудшим. Здесь проявится оборотничество духа ---- ложная вера начинает истреблять носителя ее. «Мне кажется, жалеют нас леса. И небеса...». Не так ли русские крестьянки в Сибири жалели варнаков-душегубов? Потому, что убивающий убивает и надежду на вечное. Так что душевность — тоже планетарная сила, раз уж бездушные оставляет такой страшный след на планете!

Только речь, конечно, не о пятилетке. Что за парадокс: когда замахнулись па переделку истории самой, стали оперировать малыми отрезками времени и все отдали в жертву дню бегущему!? Как же так: воспитывали революционеров, а получилось поколение потребителей? И поэт признается: «Брать больше, чем давать, мы научились». Ведь расхищается-то достояние потомков. Значит, памятником нам будут гигантские котлованы.

И вчерашнее утро, светясь от азарта,
Улетело с веселою песенкой в завтра.
И, что горше всего и более тревожит,
Оказалось, что завтрашний день уже прожит.

Разлад всего со всем стал судьбой нынешнего человека. В том числе разлад с самим собой. Вот почему поэзию Игорь Киселев понимал как скорую помощь душе: надо, отняв все лишнее, привести человека к основам жизни. «И зов земли все глуше на бешеном шоссе, где мчатся наши души, как белки в колесе...».

Но человек жив землей. Герой стихов Игоря Киселева в лес ходит, как к причастию. Это место очищения и приобщения к святине. Мудрая ясность приходит здесь, в тишине. В лесу нет места риторике, пышнословью. Человек умалывается, и тогда лес раскрывает свою душу. И твоя душа как бы под куполом храма, погружается в общий хор жизни и с ним взлетает ввысь.

Как слышится в лесу!

Заполнив чашу с верхом,
Мчит эхо на весу
По веткам, как по вехам.
Далекий скрип сосны
Доносится с опушки.
И жалобы кукушки
Прозрачны и ясны...

Надо ли пояснять? Природа для поэта не мастерская, а храм. В этом его спор с ближним временем, в этом опора его на время большое, национально-историческое. Здесь его пантеизм: природа как целое божественно совершенна. А мы вносим в нее дисгармонию, потеряв цельность своей души.

Грустная констатация слышна в ставших известными словах поэта: «у нас вначале было дело, красота приложится потом». Сопоставим это с еще более известными словами: «Красота спасет мир» (Достоевский). Нет ли тут порочного круга? Сначала она будет убита, потом «приложится» и спасет? Все, мол, образуется, все будет, как надо... Кого же, уж не детей ли так успокаивают?

Что, кстати, чувствуют дети в зоопарке, глядя на измученных неволей зверей? И что думают взрослые, видя тоску в их глазах? Вот еще один жестокий парадокс: зоопарк должен приблизить нас к живой природе, а на деле — воспитывает нравственную глухоту. Да, нечувствительность к чужой боли.

Об этом стихотворение «Молитва ламп», достойное включения в любую хрестоматию для детей. В нем дважды повторена строка: «Любоваться страданием стыдно». Мало ли знаем мы веселых стихов про зоопарк? А что же сами-то «экспонаты» думают о нас? Как они нас видят, каковы мы, беззаботные, в глазах природы?

Не разглядывай. Отвернись.
Любоваться страданием стыдно.
Видишь, — глаз мой миндалевидный
От смущения смотрит вниз,
К прутьям с трепетом подхожу.
Как прекрасен он, твой детеныш!
В глубине его глаз утонешь,
Видишь — руку ему лижу...

Вот как, — мучимая лань не проклинает «жестокоего бога», а его, тюремщика, увещевает! Автор оттенил какую-то сокровенную тайну мучимой жизни — тайну женственности, смущения перед силой, глухой и нечувствительной, «что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страданья», как сказал когда-то Тютчев.

Природа зовет к милосердию. Больше того, лань прозревает и нашу

собственную запертость: не зарешетили мы свой дух?

Отпусти меня в лес, в кольцо
Быстрых рек, где трава и птицы!
Посмотри: на твое лицо
Тень от клетки моей ложится!

Да, «тень от клетки» омрачает облик современника, тень воздвигаемой им тюрьмы для стихийной жизни. Нормально воспитанный ребенок должен почувствовать: хорошему, милому существу здесь плохо, оно страдает потому, что его обрекли безвинно на пожизненное заточение. Здесь их чувства — те же, что и у человека. Уж что-что, а неволю звери чувствуют острее человека. В начале века Леонид Андреев написал рассказ «Проклятие зверя». Брат наш по страданию, пожизненно заключенный зверь проклинает человека. Проклят ты будь и весь твой город, — вот что прочел герой рассказа, приблизившись к решетке клетки. Заветная мысль Игоря Киселева иная: природа-мать боится за душу человека, пытается вразумить, а мы к ней глухи. Вот почему, наверно, нет диалога человека с ланью.

Итак, поэтическое призвание Игоря Киселева — быть заступником природы, быть как бы посланцем ее, стучаться в души, оглушенные машинным грохотом. Он остро чувствовал вину перед обреченным, сметенным в сторону, загнанным в угол, хотя и сам был из обреченных на непонимание. Покаяние у него нередко перерастает в предсказание. Это неизбежный вывод из наблюдений.

Но среди журавлиных рыданий
Не впервые расслышал я речь:
Мы родные просторы и дали,
И любя, не умеем беречь...
И поэтому с чувством укора,
С горькой грустью, не взятой взаймы,
Вижу я наступление скорой
И, наверное, лютой зимы.

Больше всего запоминаются картины ранней осени, созданные поэтом в его последних сборниках. Безотчетное и преждевременное прощание. В сущности, в расцвете лет ушел из жизни Игорь Киселев. И здесь — тоже образ: сразу за зрелостью — обрыв, конец! Оказалось, — предвидение.

Лету еще не пора догорать
В зарослях мяты, смородины, щавеля,
Но по зеленому желтая прядь —
Нота прощания...
Что ж, попрощаемся, ветер и свет!
Были друзьями — дошли до отчаянья.

Все как всегда. Только музыки нет—
Нота прощания.

Веселье и мудрость нынче никак не соединяются. Уйти в утопию-идиллию тоже нельзя. «Сказочником, мудрым и веселым, я хотел бы стать на этом свете...» — не получилось. И не могло получиться: чужие трагедии стали своими. И боль не придуманная: «Что-то много развелось Иванов, кровного не помнящих родства». Мудрость ведь предполагает отстранение, а как быть поэту с неподдельным чувством родины, если это чувство нынче — отзыв задыхающейся земле? Как вместит мудрец невместимый в привычные чувства чудовищно-трагедийный русский опыт?

Вот какой образ нашел Игорь Киселев, и это — его самооценка: «Как будто все людские муки. Все слезы — угольки в золе — в свои исхлестанные руки хотел собрать он на земле».

В шестидесятые годы ждали побольше таких поэтов, которые зарифмуют «азот—креозот», а пришел исповедник. Насколько тратит художник душу, настолько глубок его след в душах людей. Так отреагировал Киселев на смерть Шукшина. И оказалось: это и о себе.

И недолгим таким — не с тоски ли?—
Был расцвет его в нашем краю,
Что все беды, все судьбы людские
Пропускал он сквозь душу свою.

Стихи его остаются центральным явлением в литературе Кузбасса и всей Сибири последних десятилетий именно потому, что у него было точное чувство времени. Он нашел верный тон: исповедь-раздумье. Он заговорил естественным голосом среди противоестественного крика и шума. Первая половина сказанного потонула в гаме, но под конец его услышали. Ему оставалось времени — лишь попрощаться.

Уйду.
Но в той песне останется
Все то, что дышало во мне:
Как дерево к радуге тянется,
Как радугу тянет к земле...